

СТЕПНЫЕ БЫЛИ

Рассказ

Солнце жарит всюду. Над раскалённой землёй — ходить по ней босиком невозможно — дрожат призрачные тени горячего воздуха. Они затуманивают горизонт, размывают подножья далёких холмов, поднимают из неведомых озёр неведомые острова.

Так возникают миражи.

Степь. Жарища. Воздух настолько сух, что опалённая солнечными лучами кожа лица ощущает его, как прикосновение чего-то жёсткого и шершавого.

Рукава рубашки Пётр Николаевич, прораб четвёртого строительного участка Каналстроя, закатал выше локтей. Как и заправленные в брезентовые сапоги брюки, она когда-то была защитного цвета, но солнце выжгло краску и теперь рубашка, брюки, сапоги одинаково белесые. На голове Петра Николаевича белая «кабардинская» войлочная шляпа с бахромой и шнурком под подбородком. На тонком ремешке, перекинутом через плечо, болтается кожаная планшетка с «канцелярией». Лицо и руки прораба тёмнокирпичного цвета, а светлые волосинки на руках похожи на искорки.

Пётр Николаевич стоит на огромной куче бурой земли и наблюдает за работой экскаватора. Ковш экскаватора повисает в воздухе, потом стремительно летит вниз, глухо ударяется о землю и тотчас же натягиваются стальные тросы. Экскаватор, — словно он не металлическая машина, а живое существо, — приседает от натуги, режут его шестерни и железная коробка ковша, врезаясь зубьями в грунт, медленно ползёт вверх по крутому забюю.

Здесь конец широкой траншеи, похожей на борозду, прорезанную чудовищным плугом.

Прораб что-то кричит экскаваторщику — из-за грохота машины не слышно что, машет руками, что-то показывает.

Экскаваторщик, не выпуская длинных рычагов и не останавливая движения механизма, повернулся к прорабу и утвердительно кивает головой. По его перемазанному лицу стекают струйки пота и, наверное, лезут в рот: экскаваторщик кривит губы, старается сдуть их.

Хочется пить. Вода в канистре нагрелась и пахнет железом. Но всё же Пётр Николаевич поднимает канистру, запрокидывает голову и глотает тёплую жидкость. Кадык его движется в такт глоткам, вода попадает на грудь, на рубашке выступают тёмные подтёки. Пьёт он долго и жадно. Наконец ставит канистру на землю и подходит ко мне.

— Ни черта не напьёшься, только потеешь больше, а пить хочется. Сейчас бы в озеро. Нырнуть с головой... Ну и жарища! Видали условия? Растопишься и останется от тебя сухая шкурка. Чертыка рыжая!.. Это я степь ругаю. Звенит, как глиняный горшок, — притопнул Пётр Николаевич ногой, а мне и впрямь послышалось будто зазвенела земля, обожжённая в солнечном пекле. — Валяй, валяй. Звени напоследок, трескайся...

Тут Пётр Николаевич неожиданно улыбнулся и заговорил совсем другим доверительным тоном:

— Я, знаете, люблю её... А ругаю просто так, по-семейному. Мы ведь с ней родственники... И ничего с собой поделат не могу, — вот как оно бывает — люблю и всё тут. За что? Вот этого объяснить не сумею. Вероятно, с молоком матери внутрь её принял. Родом я из этих мест, и дед мой здесь жил, здесь и помер. Как говорится, потомственные степняки... За простор что ли люблю? А, может, и за простор... Точнее — за масштабы. В степи нельзя жить тесно. Понимаете? Не подходит к ней теснота. Несоответствие масштабов получается. Ну, это уж чистая философия. Не по моему профилю... А если сказать попроще — лучше места и не придумаешь. Воды только нет. Единственного. Дайте сюда воду и не узнаете край! Почвы здесь плодороднейшие, температуры благоприятные. Вот вам слагаемые. Выдастся подходящий год, такой урожаяще получите! Не хватает воды. Значит, надо дать воду. Можно? А почему же нельзя?! Дадим!..

Пётр Николаевич исповедует точные расчёты, целесообразность и определённую. Он инженер и убеждённый каналостроитель. «Чёрт-те кто планировал реки, — почти серьёзно возмущается он. — Насовал их на землю как попало, а мы передельвай. Бездарное планирование». Послушать его, так выходит — всё надо передельвать. Всё не так. А в первую очередь — это уж в точном

соответствии с «профилем» Петра Николаевича — перепланировать распределение воды, исправить «историческую ошибку природы». Вот он и исправляет.

В той стороне, где горячий воздух разлился озером, среди степи торчали стрелы других экскаваторов,— это всё тот же строительный участок номер четыре, хозяйство Петра Николаевича. Растянулся он на многие десятки километров, и прораб колесит по нём на газике с брезентовым верхом. Управляет газиком он сам.

— Ну, хватит,— говорит Пётр Николаевич,— Здесь всё в порядке. Поехали дальше. На следующую точку.

И вот мы уже катим по ровной, как крышка стола, степи к этой самой следующей «точке». Пётр Николаевич что-то говорит, кажется очень определённо кого-то ругает, не особенно-то стесняясь в выражениях, кто-то (видали такого мерзавца!) тянет волынку и задерживает доставку запасных тросов для экскаваторов, из-за чего все расчёты могут полететь к чертям, но слушаю я невнимательно. У меня «профиль» иной, чем у Петра Николаевича, и мне дозволено «пофилософствовать»...

Бывает так, что прошедшее, настоящее, будущее перестают существовать отдельно в строгой своей очерёдности, расстояния во времени сближаются, образуется непрерывная цепь событий и тогда почти зримо бок о бок уживаются и сегодняшнее и вчерашнее и то, что только лишь будет завтра.

Так произошло со мной и сейчас: выгоревшая степь, траншея будущего канала, грохот экскаватора, потное лицо экскаваторщика, сам Пётр Николаевич соединились с видением завтрашней преобразованной, «исправленной» степи, с Фёдором Маркеловым,— это уже прошлое,— который жил где-то в этих местах.

И степь, и воздушное озеро, к которому мы ехали,— а оно всё отодвигалось и отодвигалось от нас,— и матовое пыльное небо взбудоражили память, и живой встал предо мной Маркелов — невысокого роста, коренастый степняк, с чуть прищуренными хитроватыми и добрыми карими глазами. Было такое чувство, что вот сейчас, здесь прикоснулся я к чему-то очень большому и очень важному. Надо было лишь сосредоточиться, сделать ещё какое-то усилие и тогда самая суть этого большого раскроется в полной своей мере.

* * *

— Чудно! Ей же-ей чудно!.. Почему оно так?

Маркелов старательно свернул лиловый, расшитый зелёными и чёрными нитками шёлковый кисет, отвернул полу шинели и, не торопясь, положил кисет в карман.

— Почему оно так?— мечтательно повторил он, с аппетитом затягиваясь сытным махорочным дымом.— Прошли мы, стало быть, протопали, считай тыщи вёрст... Перевидали — немислимое. Леса, реки. Скажем, опять же горы Карпаты. Мать честная! Есть, выходит, на свете красота и каждая на свой собственный разный манер, а мы ту красоту не в мечтаниях, а собственноручно наблюдаем. На всю жизнь, сколько её осталось, запомнить хочется... И вдруг тебя вроде кто за сердце возьмёт. Вроде сожмёт твоё сердце, и такая смутность внутри разольётся. Встанет перед глазами своя природная сторона... И не то, чтоб в отдельности какая там балка или прочая деталь на местности, а всё в раз, всё в куче, и эту самую чужую красоту — и леса, и горы, и реки — за одну свою Мокрую Балку возьми да ещё в придачу получи.

Мы, товарищи Маркелова, бойцы стрелковой роты, отлично понимали его чувства и каждый по своему переживал похожее. Ведь не просто же так Матафонов из второго взвода, когда подошла наша часть к Карпатам, долго примеривался к карпатским лесам и, наконец, коротко определил своё отношение к ним: «Ничего. Однако против наших уральских не выстоят. Нет в них ласковости», а волжанин Сухоруков по поводу каждой реки, что без числа приходилось нам форсировать, сплёвывал через выбитый передний зуб и обиженно тянул: «Этта река?! Ну и река!».

Повторяю, мы отлично понимали чувства Маркелова, у нас на сердце при воспоминании о родных местах тоже была «смутность», но такая уж солдатская натура,— выдастся час передышки и как же не пошутить, как не «завести» товарища!

Начинал, как правило, Вася Жуков. Начинал «с подходцем», будто без всяких задних мыслей, чем и вводил в заблуждение слушателей.

Обыкновенным и скучным голосом Вася произнёс:

— Видать богатый ваш край, дядя Маркелов.

Мы насторожились: всё дело было в том, что Маркелов не раз рассказывал нам о своих степях, и по его же собственным словам выходило — ничего хорошего в тех степях не было и даже Мокрую Балку Мокрой прозвали в насмешку по причине отсутствия в ней воды.

— Богатый,— согласился Маркелов.— А то не богатый? Ты, Жуков, кто? Лесовик (Жуков был родом из-под Брянска). Значит, по этой причине не может у тебя быть настоящего понимания степной природности. Правильно говорю. Степь...

Маркелов вздохнул и то ли от дыма цыгарки, то ли от полноты чувств прищурил глаза.

— Широта в ней. Сердечная просторность. Воздуху громадное количество... От неба до неба размахнулась... Весной из земли всякая травинка вылезает,— полынка там, чабрец, донник тоже, житняк... От травяных запахов голова туманится, а дышать легко. Полезные для здоровья травяные запахи... А то вот ещё жаворонок. Разные они — и с хохолком есть и просто так. Поднимется та птица в небо, крылышками трепыхает и на всю степь о своей птичьей радости поёт. И нету тебе покою. Идти, идти... Или сделать такое, чтобы всю силу свою вложить.

Маркелов вытащил в волнении кисет, повертел в руках и, не развёртывая, сунул его в карман. Смотрел он на нас добрыми глазами, а мы притихли и каждый, слушая Маркелова, думал о своём, единственном.

— Дорогие товарищи... Налетит ласковый ветерок и покатит волны по пшенице. Есть такой шёлк. Очень на тот шёлк пшеница под ветром похожа. Колоски у пшеницы тугие... В садах ветки у деревьев в дугу огибаются от плодов. Яблоки — во! Упадёт какое, не удержится, стало быть, от переполнения соков, ударится о землю и брызнет ароматом во все стороны. Ещё разные сорта винограда: мускат, сильванер, скороспелка... Будто сквозь туманное стекло через виноградную ягоду весь свет видно. В прудах рыбищи этой... Тоже утки-пекинки, гуси. В жару самую пчёлы гудят...

Здорово умел рассказывать Фёдор. Встала перед нами степь, переливаются шёлковые поля пшеницы, слышим, как пчёлы гудят. Наше это. Не бесприютные мы. Есть у нас на земле своё, родное, кровное. И такая радость у нас была. Гордая. Пусть шинели пропахли кислым запахом пороха и крови, пусть выцвели пропитанные тяжёлым солдатским потом гимнастёрки, пусть не считаны минуты и часы, сколько осталось нам шагать до смерти... Впрочем, никто о смерти тогда не думал. Жизнь раскрылась перед нами во всей своей неистребимости, жизнь приумножилась.

— Подожди-ка, дядя Маркелов,— перебил Фёдора Вася Жуков,— что-й-то не могу я понять тебя. Помнится, говорил ты, будто выгорают ваши степи, ни единой будто травинки не найти. Говорил ведь?

Маркелов как-то обмяк, посерел, словно подменили его.

— Говорил...

— И воды будто у вас вовсе нет?

— Нету... Нету у нас воды,— подтвердил Маркелов и послышалась нам в его голосе тоска и обида.

— И посевы ваши от безводья на корню выгорают?

— Выгорают.

— И никаких садов нет?

— Нету садов...

— И земля от засухи лопается?

— Лопается... Ещё как лопается. Плитками лежит. На манер мостовой в городе.

— Тю на тебя!— возмутился Белоконь Захар Онуфриевич.— Вот забрежался зовсим чоловик. Мабудь от жары у вас птахи на лету сдыхают?

— А что ты думаешь!— оживился Маркелов.— И очень просто, сдыхают...

Тут уж все мы не выдержали. Такая нас злость на Маркелова взяла, словно отнял он у нас самое дорогое, самое наше. И отнял-то так — озорства ради.

— Какого же ты чёрта путаешь нас, степняк собачий. Яблоки ароматом брызжут... Виноград просвечивает... Нету у тебя ни хрена, так и не втирай очки.

Маркелов сплюнул и с явным сожалением произнёс:

— То-то я и гляжу на вас, какие вы есть дурни. Никакой широты в мыслях, то есть никакого настоящего понимания конкретной обстановки у вас нет.

— Ну, ты полегче насчёт обстановки и мыслей!

— И то правда, что говорил, и сейчас не вру,— упрямо повторил Маркелов.— И виноград, и яблоки, и пчёлы гудят... А вечерами девчата песни поют. Хорошие у нас песни, товарищи. Радостные. Заслушаешься, да и не заметишь, как сам подтянешь...

— А что, братцы,— сказал тут Белоконь Захар Онуфриевич,— мабуть кто подскажет мне, як до медсанбату ближче дойти? Сдаётся — одному чоловіку неотложна допомога требуется.

Вася Жуков гаркнул во всё горло, а Маркелов задумался, улыбается, а глаза светлые. Жуков словно на пень наскочил. Замолчал. И мы молчим, смотрим на Маркелова, ждём, а чего ждём и сами не знаем.

— Суровая сторона у нас, товарищи,— погода заговорил Маркелов,— а в чём суть? Главное — воды нет. На такой земле ты хоть што, хоть в лепёшку расшибись, а толку чуть. Сколько годов народ на той земле бился — сказать не могу. Только хозяйство поднять никак невозможно. Подуют с астраханской стороны горячие ветры — кричи алла. Не скажешь ему, чёрту, безрукому — перестань. Вот она, глянь, пшеница, зелёная, колос только-только наливаться начинает. На же тебе! Прямо на глазах иссушается. Бросить всё к чёртовой бабушке и подаваться на новые места — пропади ты пропадом жизнь такая. А как наследственное место бросишь? Да ни в жизнь! И сложил в своих мечтаниях народ в нашей местности такую, например, сказку: народится,— а когда народится точно никому знать не дано,— от простой бабы богатырь. Росту ни маленького, ни большого, так себе, обыкновенного, а силы непомерной. Пойдёт, стало быть, тот богатырь к горе Эльбрусу — гора такая у нас на Кавказе есть, с Эльбруса наши реки начало своё берут,— скажет будто слово,— чего только не придумают!— и гора ему в ноги поклонится, покорится, значит. Понатужится богатырь, подопрёт плечом гору и подвинет её, поудобнее для наших мест поставит... Понятно, в сказках чего только не скажут! Никто и не верил той сказке, а так, говорили её в своё утешение. Но, между прочим, вышло-то похожее.

— Богатырь, значит, народился?— полюбопытствовал Жуков.

— А ты помолчи... Дойдёт черёд, я тебе между прочим и о богатыре расскажу. То-то и есть, что ему и родиться не требовалось.

— Вот те на!

— А очень просто. Был тот богатырь на свете, только силы своей не знал, некому было ту силу открыть. Понятно?

— Вроде, выходит, Илья Муромец, тридцать три года сиднем сидел...

— Во, во... Только не тридцать три, а сколько — я тебе даже сказать не могу... Дай-ка огонька, Онуфрич. Угощайся...

— Благодарствуй,— ответил Белоконь Захар Онуфриевич, взяв лиловый кисет и свёртывая цыгарку.— Табак у тебя, Маркелов, вполне соответственный.

Потянулись за табаком и другие. Закурили.

— Ну и что же дальше?— не выдержал Жуков.

— А дальше скажем так,— объявился будто тот богатырь. И всё, как предсказано: от бабы простой родился — от казачки станицы Раздольной. Кличут Василём. По отцу — Корнеич. Ну, народ загудел. Ждёт. А Василь Корнеич знак по станицам и хуторам даёт: «Решил я, мужики, реку Кубань через безводные степи пустить. Выходите все в степь, кто с чем, у кого, значит, что есть, у кого волю, у кого плуги — будем водяную канаву от Кубани в степь копать». Вот по этой причине и усомнился народ,— значит, всё ж таки сказку-то на примете держали — на кон же ляд Василю, раз он богатырь, народ скликать? Ежели ты богатырь, должен один Кубань в степь повернуть. Обман, выходит! Одним словом усумнились и на степь в назначенный срок не вышли.

— Во, дурошлёпы!— с досадой сплюнул Жуков.— Бессознательные.

— Аккурат, как ты, — огрызнулся Белоконь. — Слухать не даёшь. Ну, помолчи.

—То до меня было, от стариков слышал. Но, между прочим, говорят любопытное. Посадил будто Василь на воз свою бабу с ребятишками, плужок прихватил и единолично выехал в степь. Канаву копать. Авось всех разохочу. Мужики издали смотрят, хмурятся, землю-то копать и мы умеем. Ты нам силу свою покажь... Копают Василь с бабой своей канаву неделю, может, две. И дошёл о том слух до атамана. Нашлись такие, что донесли: мужик через степь канаву копает. Рассердился атаман, аж затылок покраснел. Как же так без его разрешения? Обидно.

«Позвать,— приказывает,— ко мне того мужика».

Схватили, кому было положено, Василя, приводят к атаману.

«Ты это что ж,— атаман на него,— народ мутишь? По какой надобности степь копаешь?»

Василь ему вежливо всё по порядку выкладывает: мол, воды, господин атаман, ваше благородие, в степи не хватает, хлебушек горит, хочу от Кубани канаву прокопать, воду по ней пустить.

Атаман глаза выкатил, пасть раззявил — во! За живот ухватился, хохочет так, что медали друг о дружку звякают.

«Ну и дурак ты,— говорит,— братец, дурак, каких свет не видел. Ты что же, сукин сын, с самим господом богом спорить хочешь? Землю по-своему, по-мужичьи перекроить вздумал? Да я тебя за такие твои мысли имею полное право в Сибирь сослать».

Покричал атаман таким манером, но, между прочим, отпустил Василия.

«Катись к ядрёной матери, но другой раз под горячую руку мне не попадайся. Характер у меня не выдержанный, повредить тебя могу. А чтоб слова мои крепче запомнил, дайте ему под то самое место, что пониже спины для того богом отведено».

— Вот сволочь!— рассердился Жуков.— Человек инициативу проявил, а он ему всю активность подрезал. Доведись такое на меня...

— А что б ты?

— Я? Я-То? Ты что меня не знаешь?

— Тю, дурья твоя голова. Когда было-то это? Соображаешь? А не сдался, товарищи, Василь. Вернулся на степь и опять за своё...

— Неужли выкопал?

— Не выкопал. Разве ж один выкопает!

— Один ни в жизнь... Стало быть, сказать так — прошибка вышла Не богатырь Василь.

— Я ж и говорю: сказка, она сказка и есть. Только опять же и так рассудить — разные сказки бывают. Ежели сказка с мечтой, корешками крепко за жизнь ухватилась, когда ни на есть, а пробьётся она к наружности, как травинка из земли. А ежели так, пустобрешка от нечего делать — завянет без всяких последствий.

...Гудело над нами небо — летели на передний край звено за звеном самолёты, вздрагивала земля от ударов снарядов, пылили без дорог автомашины, припечатывали к земле свои тяжёлые следы танки, совсем недалеко от нас в муках кончались человеческие жизни, и никто не измерил расстояние от наших собственных жизней до смерти. Мы же в тот час не слышали грохота взрывов, рёва тысячи тысяч лошадиных сил, втиснутых в моторы военной техники, не видели уродливых, обгорелых трупов вчерашних деревьев, среди которых остановились на передышку.

Для нас было ясно: всё это не настоящее, временное, всё это кончится, переживётся. Настоящее и постоянное было в нас, в наших чувствах и желаниях, в наших думах, возникших под впечатлением рассказа Маркелова. Очень важным, самым главным и необходимым было тогда для нас знать: неужто не изменилась далёкая степь, о которой рассказывал нам Маркелов и которую никто из нас никогда не видел, неужто же не сбылись мечты, что воплотились в сказе о Василе. Была та степь наша, нашей была та земля, на которой было положено нам жить до скончания века.

Маркелов замолчал, а мы боялись нарушить его молчание. Даже о куреве забыли. Ждали.

— Крепко корешки той сказки ухватились за жизнь,— погодя продолжал Маркелов.— Был тот Василь или не был — разговор не о том. Мечта была у народа, необходимая для жизни думка... Ей-же-ей, не вру! Закрою глаза и явственно вижу, прямо как на картинке: валом идёт вода. Волной катит. Пьёт земля воду. Каждой трещиной, каждым вершком. Пьёт, пьёт... Набухает живым земное чрево. Поднимаются из земли травы и прочие культуры. Прямо на глазах. Слышу — почки на ветках лопаются, развёртываются, вот уж на деревьях и листочки шумят... И ничего в том выдуманного нет. Всё правда. Правда же всё это, ей-богу! Вижу ещё—народ в степь вышел. Черно. Прямо черно от народа. Тыщи людей вышло... Канавы копают, пруды строят... Девчата песни поют. Хорошие песни у нас, душевные... Выразить я не могу, товарищи, как мне домой хочется. Знаю — путь лежит петлёй, через тот поворот дорога в свою сторону ведёт. Да возвернусь же я! Нельзя нам не возвернуться. Ждёт нас земля. Истосковалась. Ей ведь тоже неохота бесплодной оставаться. Чую — созрела она для великих дел.

Подошли транспортёры.

— А ну, давай быстрее!

И сразу оборвались видения далёкой степи, откуда был родом Маркелов. Осталась у нас лишь злость, такая злость! Против тех, кто оторвал нас от родной земли, кто помешал сбыться нашей мечте. С великим упорством двигались мы вперёд, на запад, к повороту дороги, что ведёт в родную сторону.

В тот же день наша рота приняла бой. В том бою был убит Маркелов.
Но другие дошли до поворота дороги и вернулись домой...

* * *

Пётр Николаевич, повидимому, заметил, что я не слушаю его. Он ещё пробурчал что-то нелестное по поводу тех, кто тянет волюнку и задерживает доставку, кажется, запасных тросов, обиженно вздохнул и замолчал.

Прошу прощения, Пётр Николаевич!

Но сейчас нашла на меня такая минутка...

И думаю я вот о чём,— о вас, Пётр Николаевич, об экскаваторщиках, шофёрах, трактористах и многих других, работающих на вашем четвёртом строительном участке.

В засушливой степи вы строите канал. Знаете, если разобраться как следует, технически это довольно просто: почвоведы и гидрогеологи изучили свойства почв, наметили трассу будущего канала. Другие специалисты определили технику строительства, на трассе появились экскаваторы, грейдеры, автомашины и прочая механизация. Несмотря на задержку тросов,— и мало ли ещё какие задержки бывают,— вынимаются кубометры грунта, укладываются кубометры бетона. Инженеры, шофёры, экскаваторщики, бетонщики всё своё внимание сосредоточивают на очень конкретных и, вы не обижайтесь на меня, дорогой прораб, пожалуй, даже ограниченных задачах, поставленных перед каждым из них.

Нег, нет! Я не спорю с вами. Что вы! Нам не о чем спорить. Я прекрасно понимаю — это хорошо, это необходимо, без подобной определённости и ограниченности никакое дело невозможно. Но сейчас по-особенному остро, вещественно,— вот так же, как окружающее нас, всё, до чего я могу прикоснуться и измерить,— приоткрылось и другое.

У людей есть великое преимущество перед всем живым. Человек мыслит. Когда огромные человеческие мысли, мечты, чувства сливаются в гармонический сплав с его действиями, человек приобретает неограниченную силу, а его труд — великий смысл.

Мне вдруг показалось,— вот ведь как бывает!— что за горизонт спустился великан-пахарь — не тот ли богатырь, о котором рассказывал Маркелов? Я почти видел его, почти видел, как налегает он узловатыми, со вздутыми мускулами руками на ручки плуга, глубоко вдавливая огромный лемех в пересохшую землю. Медлительно шагают запряжённые в плуг быки с белыми отметинами на мордах — каждый величиной с гору.

Где-то в этих степях жил Фёдор Маркелов, с хитроватыми и добрыми глазами. Вы с ним никогда не встречались, Пётр Николаевич. Но это ведь и не столь важно...